Владимир Ткаченко

Брежневский карцер

воспоминания о пережитом

Владимир Ткаченко

БРЕЖНЕВСКИЙ КАРЦЕР

ВОСПОМИНАНИЯ О ПЕРЕЖИТОМ

Ленинград
1990

84 3Р7
Т-48

Издание осуществлено за счет средств автора

ОТ АВТОРА

В 1956 году я окончил юридический факультет Среднеазиатского Государственного университета им. В. И. Ленина (г. Ташкент), тридцать лет проработал в органах прокуратуры, коллегии адвокатов, а с 1989 года возглавляю юридическое представительство кооператива «Луч» в Кустанае.

С июня 1967 года по май 1969 года я был старшим помощником прокурора Кустанайской области по надзору за местами лишения свободы и в своей деятельности непосредственно подчинялся заместителю прокурора области Павлу Лаврентьевичу Громову, у которого возникла ко мне неприязнь из-за сложившихся отношений по работе и потому, что назвал его карьеристом. В конце 1969 года я перешел в прокуратуру г. Кустаная. Однако и здесь он не оставлял меня в покое. Спустя два года я перешел в юридическую консультацию в качестве адвоката.

И вот в августе 1973 года некий Коваленко, совершивший автоаварию, пытался во дворе дома моей матери вручить мне тысячу рублей с заранее переписанными номерами. (А квартал был оцеплен работниками уголовного разыска и ОБХСС УВД Кустанайского облисполкома). Я велел Коваленко покинуть двор. Этот факт со всей очевидностью нашел отражение в материалах уголовного дела. Тем не менее, 29 октября 1973 года и. о. прокурора Кустанайской области Кусаинов санкционировал мой арест по явно сфабрикованному эпизоду: якобы Коваленко передал мне 50 рублей с тем, чтобы часть их вручить следователю ГОВД А. А. Бастену. А 30 октября 1973 года и. о. прокурора Кустанайской области П. Л. Громов дал санкцию на арест А. А. Бастена. (Выходит, в течение суток было одновременно два и. о. прокурора области). «Дело» находилось в личном производстве начальника следственного отдела областной прокуратуры И. Ф. Лопатина.

Не буду останавливаться на выискивании следственной группой «фактов» получения мною денег от бывших моих поручителей (клиентов), говорить об угрозах, запугивании свидетелей. Скажу только, что в марте 1974 года судебная коллегия по уголовным делам Тургайского областного суда (председательствующий — член областного суда Выборнов) обратила его на доследование в прокуратуру Кустанайской области, а в июне того же года с последующей полной реабилитацией А. А. Бастена.

Несмотря на то, что многочисленные пункты, касающиеся устранений существенных противоречий и грубых упущений по каждому эпизоду обвинения, не были выполнены, та же судебная коллегия по уголовным делам Тургайского областного суда (председательствующий — член областного суда Выборнов) приговорила меня по ст. 17-147, ч. II УК Казахской ССР к 12-ти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии усиленного режима. В касационном порядке приговор был отменен судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Казахской ССР с направлением дела на доследование на сей раз прокурору Казахской ССР с указанием устранить существенные противоречия по эпизодам обвинения.

Вопреки материалам дела и здравому смыслу семипалатинский следователь, руководствуясь указаниями первого заместителя прокурора республики (давно уже бывшего) В. И. Кацая, предъявил мне обвинение по ст. IV-147 ч. I и 136 ч. III УК Казахской ССР. Видимо, это понадобилось для оправдания моего ареста и незаконного содержания под стражей в течение 1 года, 3 месяцев, 15 дней.

Чем вызван произвол и беззаконие? Ответ, по-моему, прост.

В 1972-1973 годах был нашумевший процесс о зверском убийстве четырнадцатилетней девочки. Одного из убийц (Надточиева) защищал я. Суд его приговорил к 15 годам лишения свободы, а второго убийцу — к смертной казни. В областные партийные, советские и правоохранительные органы поступила масса писем с требованием пересмотреть дело за мягкостью приговора. Во многих говорилось, будто адвоката и судью «купили» родственники Надточиева. В письмах, поступивших в Кустанайский обком партии, слова «купили» и «продались» были подчеркнуты красным карандашом рукой второго секретаря О. А. Козыбаева (впоследствии за серьезные упущения в работе и нарушения законности освобожденного от должности председателя Актюбинского облисполкома). Как стало известно, объяснения давал П. Л. Громов... И я был осужден на срок пребывания под стражей — 1 год, 3 месяца, 15 дней.

С этим приговором я, разумеется, никогда не смогу согласиться, ибо утверждал, утверждаю и до конца дней своих буду утверждать, что преступления не совершал, а стал жертвой произвола и беззакония со стороны конкретных должностных лиц.

В те мучительные дни и месяцы мне хотелось передать свои чувства, впечатления на бумаге. Я долго колебался, сомневаясь в своих способностях. И только изменения, происходящие в нашем обществе, побудили меня взяться за перо.

I

Под следствием я долго сидел в по существу одиночном заключении, иногда без книг, на одной «казенной» пище, в угнетенном душевном состоянии. Я думал о своей матери, жене. Мать моя Ефросинья Михайловна вся поседела и согнулась от горя, хотя за какие-нибудь 3-4 месяца перед тем была вполне бодрой. На свидании со мной старалась казаться по-прежнему веселой: наивная душа, она думала меня обмануть! Но я не мог не видеть ее опухших от слез и покрасневших глаз, не мог не уловить глубокой грусти в ее ласковом взгляде, не мог не догадаться, что она неустанно хлопочет, обивает пороги, молит, кланяется. А ее еще вызывали на допросы.

Конечно, я догадывался, что им несладко живется, но многого не знал. Через два месяца после моего ареста в областную прокуратуру вызвали мою жену Марию Семеновну. Начальник следственного отдела сказал, чтобы она забрала вещи мужа: золотое обручальное кольцо, наручные часы и пояс. Зная, что ее могут повезти ко мне на опознание вещей, она их не признала моими. Ее посадили в черную «Волгу» и повезли в тюрьму. Поговорить нам не дали. Я успел сказать, что ни в чем не виноват. Позже она сказала, что вид у меня был ужасный, вся голова в бритвенных порезах. Она выбежала из тюрьмы и бежала в беспамятстве. А за ней ехала черная «Волга».

Мои родственники пытались послать телеграммы в Москву и Алма-Ату, но ответа не было, так как вся корреспонденция задерживалась, а выехать они не могли, так как с них взяли подписку о невыезде. Около квартиры круглосуточно стояла машина. Если жена шла в магазин, кто-нибудь шел за женой следом. Она мучилась бессонницей, а днем надо было работать. Не могла есть, ослабела. А тут еще дочь заболела... Пережитое не не прошло бесследно — жена стала инвалидом I группы (болезнь сердца).

В тюремных снах я часто видел кошмары, но ни один из них не мог сравниться с болью и ужасом нашего с матерью прощания. Мне предстоял этап в исправительно-трудовую колонию

усиленного режима для отбывания 12 лет лишения свободы. Мне еще не было известно, что ждет еще и этап в город Аркалык для ознакомления с протоколом заседания судебной коллегии облсуда. В тюремном помещении состоялось второе свидание с матерью.

Расстались мы часов в 11, а в 12 часов надзиратель объявил, что меня должны обрить. Повели в баню и ошельмовали: гладко-нагладко обрили голову. Кажется, давным-давно надо понять, что это никогда и никому не помешало скрыться: голый череп легко прикрыть париком или шапкой. Бритье головы — это лишь надругательство над достоинством человека, лишенного прав. Не в столь отдаленную старину на лицах и плечах колодников выжигались каленым железом клейма. До еще недавнего времени еще можно было встретить в Сибири дряхлых стариков, имеющих эти ужасные печати.

Каким-то образом узнав от тюремщиков о дне моего этапирования, мать пришла к тюремным воротам, чтобы хоть на какое-то мгновение увидеть меня. При выезде из тюремных ворот автозака у самого оконца я увидел дорогое лицо любимой матери. Седая, бледная, она бежала рядом с машиной и махала слабой рукой. Я видел, как она, задохнувшись, остановилась на углу. Помню, я откинулся на спинку и горько заплакал.

Позже, уже в Кустанайской тюрьме, получил от нее письмо, написанное рукой внучки. Оказывается, она поспешила на станцию, но, конечно, приехала позже и не смогла увидеть, как меня выводят. На платформу ее не пустили, прапорщик и солдаты не вняли мальбом. Пробраться тайком тоже не удалось. По железной дороге она ушла в поле. Поезд промчался, ни одного лица в окнах она не смогла различить. Утешила себя мыслью, что может быть я успел ее увидеть — она стояла и махала платком.

Но я ничего и никого не видел. Никуда не хотелось глядеть, даже в собственную опустошенную душу. Меня везли в особых условиях, отдельно от других заключенных, и на этапах я содержался в отдельной камере, так как начальник конвоя и другие из команды знали, что в недалеком прошлом я был помощником прокурора по надзору за местами лишения свободы и на моем личном деле стоял гриф «ответственный работник органов прокуратуры».

Даже будучи в этой должности, я как-то идеализировал арестантов с их будто бы артельными нравами и обычаями. Первая моя попытка подойти к этому миру на равных едва не стоила мне глаз. Когда я оказался в коридоре вагонзака и подошел к решетке, за которой сидели заключенные, чтобы что-то спро-

сить, один из них резко выбросил растопыренные пальцы, целясь прямо в глаза. Я успел отпрыгнуть. За решеткой стоял заключенный с дебильным лицом, выражавшим ненависть ко мне. Его сокамерники смотрели молча и равнодушно.

Это было первое свидетельство того, сколько тьмы, невежества, бессмысленной жестокости таится в этом мире, порожденном нашей же жизнью, как он чужд мне и как много я должен буду выстрадать. Я задавался вопросом: смогу ли внести в него хоть маленькую лепту добра и человечности?

Невольно я наблюдал над окружающим миром заключенных. В Аркалыке ко мне в камеру поместили осужденного на 10 лет за хищение социалистической собственности в крупных размерах Мухтара Бегалиева. Как явствовало из судебного приговора, он проходил по делу организатором и инициатором ряда эпизодов преступления. По его словам, он, будучи директором ресторана, стал жертвой интриг и махинаций подчиненных ему лиц. Он был угрюм и несловоохотлив. Но любил вспоминать о сладкой жизни.

— Хорошо было жить. И-их, хорошо. Много было женщин. С одной и другой вдовой жил душа в душу, дочь от одной имел.

Не сразу я добился, что причиной преступления были карты и вино. До позднего вечера я как мог утешал Мухтара, и уже стал замечать легкую улыбку.

После ознакомления с протоколом судебного заседания Тургайского областного суда я под усиленной охраной этапом через Целиноград возвращался в Кустанай. Порядки становились строже, обращение начальства и конвоя грубое, настроение заключенных удрученнее. Говорили, что здесь отберут все до последней нитки. А потому придумывали, куда запрятать имеющуюся на руках копейку и что-либо из запрещенных предметов. В том, что конвой на этапах чинит произвол и беззаконие в отношении заключенных, я убедился в пути из Аркалыке в Целиград. Начальник конвоя, заподозрив, что у Мухтара Бегалиева могли быть при себе деньги, лично открыл нашу камеру вагонзака и пригласил его в служебное помещение. Через два часа ввели в камеру совершенно пьяным. Утром, мучаясь похмельем, он рассказал, что добровольно отдал 200 рублей, хранившихся в носке ботинка, а начальник пригласил разделить ночную пьянку. С опаской Мухтар извлек из карманов четыре пачки чая.

— И это все за 200 рублей? — спросил я.

— Все.

С глубокой тоской я осознавал, что впереди у меня лагерная жизнь, которая поглощает тысячи людей, редко кого возвращая

к добру и социально активной жизни. Невольно содрогался, глядя на мрачные, запущенные тюремные строения, безучастно видевшие столько поколений людей, изувеченных нравственно.

II

Через два месяца после ареста я объявил голодовку в знак протеста против беззакония. Более двух суток я находился в камере. Мне не хотелось омрачать жизнь соседей и каждые два часа я стучал в дверь, требуя, чтобы меня удалили из камеры. Наконец, меня вывели и сразу же водворили в каземат, именуемый в тюрьме карцером № 29.

Над головой в 180 сантиметрах от пола монолитный свод. Пол щербатый, бетонный, стены настолько шероховаты, что к ним невозможно прислониться. Размер 2 на 2,5 метра. Температура не поднималась выше 7-8 градусов. Здесь, как я знал, в 30-е годы приводились в исполнение смертные приговоры, лилась невинная человеческая кровь.

Находясь в карцере, я продолжал добиваться прекращения сфабрикованного дела и восстановления моего доброго имени. Мои многочисленные жалобы в адрес прокуратуры Казахской ССР и Союза ССР просто-напросто пересылались в прокуратуру Кустанайской области. Их рассматривали люди, сами попиравшие элементарные правовые нормы.

На что я надеялся? Ведь я видел процесс массовой деморализации людей во всех слоях общества, массового воровства и пьянства, загнивания экономики, знал многочисленные факты разрыва между словом и делом, разгильдяйства, угодничества, лицемерия и холуйства. Я видел серость и убогость нашей жизни, беззаконие, необоснованные репрессии, страх людей, неспособных выступить против дряхлеющего, но сытого брежневского режима. Все это я воспринимал крайне тяжело, иногда возникали конфликты с отдельными должностными лицами органов прокуратуры и суда.

Лежа на цементном полу каземата, я думал о деятельности исправительно-трудовых учреждений, включая, разумеется, и тюрьмы, пытался вникнуть в проблему перевоспитания человека, оступившегося, совершившего преступление. Рецидив, как да-

моклов меч, повисает чуть ли не над каждым, кто хоть раз оказался за колючей проволокой. Многие преступники снова совершают преступление и попадают в знакомые стены тюрьмы, а затем в исправительно-трудовую колонию либо строгого, либо особого режима. Для рецидивиста это уже не трагедия, а образ жизни.

Несмотря на сравнительно удовлетворительные условия содержания большинство заключенных после пребывания в тюрьме становятся озлобленными, надломленными душевно, а то и физически. Им невмоготу от свар и потасовок, от произвола администрации тюрьмы, должностных лиц судебно-следственных и прокурорских органов.

Находясь в тюрьме, заключенные сначала ждут следователя, а его все нет и нет. Затем ждут предъявления обвинения — его не предъявляют. Проходят недели, месяцы, а то и годы ожидания. Немыслимо долго рассматриваются кассационные жалобы. Заключенные страдают нравственно, теряют веру в законность, справедливость, жизнь.

Общество, государство требуют от юристов прежде всего соблюдения закона, но в том-то и беда, что большинству юристов, слабых в области права, подобное требованием не под силу. Кроме того следует учесть, что среди них немало пораженных вирусом угодничества, раболепства, карьеризма, беспринципности.

В результате, следователь, дознаватель, прокурор и судья представляются мне людьми с бритвой в руке, руке сильной, хваткой, облеченной неограниченной властью вершить суд над людьми.

Прежде всего следователь этого типа стремится кого-нибудь арестовать — будь то прохожий, случайно оказавший неподалеку от места преступления, или кто-нибудь из знакомых и тем паче недоброжелателей потерпевшего. Я уж не говорю о тех случаях, когда умышленно фальсифицируются дела, руководствуясь низменными побуждениями. С болью в душе я отмечал, что не встречал ни одного дела, по которому суд вынес бы оправдательный приговор, хотя они, несомненно, были.

Правильно сейчас говорят, что брежневский период был характерен «некровавым культом», который обрекал людей на многолетние нравственные и физические страдания. Та же сталинщина, только одряхлевшая, задремавшая в уютном кресле.

Пока я сидел в карцере, продолжалось интенсивное расследование. Со мной проводились очные ставки и другие следствен-

ные действия. Допускалось беззаконие в отношении моих родственников. Сестер задержали на улице и доставили в облпрокуратуру. В квартире одной из сестер и в доме матери были произведены обыски, против них без достаточных на то оснований были возбуждены уголовные дела с единственной целью понудить их к самооговору и оговору меня. Бывший начальник следственного отдела И. Ф. Лопатин вызвал мою 82-летнюю мать и говорил, что я не принимаю пищу уже более 20 суток и через 5-6 дней могу умереть. Хотел, чтобы она уговорила меня признать факт получения 50 рублей от гр. Коваленко, и тогда, дескать, меня освободят из-под стражи.

У меня стала мучительно болеть голова, я попросил у тюремного фельдшера таблеток, но заместитель начальника тюрьмы запретил, ссылаясь на заместителя прокурора Кустанайской области П. Л. Громова, который предписал выполнять только его указания относительно меня.

Посетил меня и прокурор области, но ничего утешительного сказать не мог, ибо мой арест по существу был санкционирован вторым секретарем обкома Козыбаевым, к которому хорошо относился Д. А. Кунаев.

По распоряжению И. Ф. Лопатина мне прекратили выдачу воды с 5-го по 15-е января 1974 года. Девятого января открылась «кормушка».

— Адвокат, — услышал я хриплый голос, — возьмите эту жирную селедочку.

Я обернулся и в проеме окошка увидел тщедушного астматика-старшину внутренней службы. Действительно, на металлической тарелке лежала жирная увесистая сельдь. Старшина трижды повторил приглашение.

Вдруг его лицо исказилось гримасой, глаза выкатились из орбит. Мне стало страшно. Я ударил кулаком по тарелке, которая вылетела в коридор. И тут же услышал крик надзирателя:

— Скорее сюда! Зовите фельдшера! Старшина помирает!

Слышно было, как его тащили по коридору.

Через день-два И. Ф. Лопатин как обычно вызвал меня на допрос. Он зло говорил, что если я не соглашусь дать нужные показания, то не выйду из карцера. Разумеется, я отказался. Собрав бумаги, лежавшие на столике, Иван Федорович визгливо крикнул:

— Конвой!

Тотчас же в следственную камеру вошел тщедушный старшина и скомандовал:

— Пошел! Руки назад!

Шагая по коридору, он одышливо говорил:

—А напрасно, адвокат, вы селедочку не взяли. Вот было бы потеха— без воды-то!

Я молчал. Возле карцера я повернулся к старшине и в упор посмотрел ему в глаза. Мне до боли стало жаль и его, и тех, кто сидел в камерах, и всех людей на свете.

— Чего это вы, адвокат? — напряженно произнес он. Часто дыша, стал открывать дверь.

В карцере я сел на пол. Страшно захотелось жить. Я посмотрел на кисти рук. Они были желтые, кожа собиралась в большие складки. В эти минуты, как никогда, захотелось жить. Внутренне я торжествовал над следователем. Он был морально раздавлен. Я видел, как он ненавидел меня за стойкость.

Я лег на пол и уснул. За полночь меня разбудил стук в дверь и тихий голос надзирателя. У открытой «кормушки» я увидел надзирателя Ахмеда.

— Владимир Петрович, вы ошень сильный шеловек. Вы хороший, добрый шеловек. Все так говорят. Владимир Петрович, пожалуйста, пей вода. Я много принес.

Я отказался. Ахмед смотрел на меня печальными глазами, о чем-то напряженно думал. Я попытался его успокоить. Он отошел и долго сморкался в носовой платок. Позже несколько раз заглядывал в «волчок» (отверстие, через которое с трудом можно просунуть круглый предмет размером с куриное яйцо).

Однажды, как только закончилась утренняя поверка, я услышал четкий стук по металлу. Я бросился к трубе парового отопления, которая проходила из камеры второго этажа в карцер. Постучав кусочком бетона и прильнув ухом к трубе, я с удивлением услышал голос своего «подельника» Александра Александровича Бастена, бывшего следователя Кустанайского городского отдела внутренних дел. Мне трудно было поверить, что надо мной в тюремной камере оказался этот молодой лейтенант, только что окончивший юридический факультет Казахского государственного университета им. Кирова. Мгновенная радость сменилась чувством тоски и разочарования мне не хотелось верить, что и он арестован без всяких на то оснований (впоследствии А. А. Бастен был полностью реабилитирован).

— Владимир Петрович, как вы напугали нас! — громко кричал он. — Мы уж подумали... Как себя чувствуете? Что можно сделать для вас?

— Ничего, Саша, не надо делать. Я буду держать голодовку до победного конца.

— Владимир Петрович, чего же ждать? Ведь вы умереть можете.

Я улыбнулся. Так мы перекликались довольно долго. Наконец, старшина-астматик резко открыл «кормушку» и прохрипел:

— Молчать!

Голова болела от сильного нервного возбуждения. Мысли, одна другой бессвязнее и нелепее, копошились в мозгу. Я ложился, вставал, ходил по карцеру, хотя можно было сделать всего три шага. Ночь прошла без сна, в тягостном томлении и невеселых думах. Было холодно. Есть давно не хотелось, и лишь нестерпимо болела голова.

Я горестно думал, что, сидя в этом каземате, ничего никому не докажу. Похоже, в нашем государстве нет защиты от беззакония. Все права начисто уничтожены в период сталинского режима, а то и раньше.

Только под утро, согнувшись в три погибели, полулежа, полусидя я забылся тупым сном, который длился, казалось, одно мгновение.

Проснулся, дрожа от холода. В ушах слышался какой-то металлический отзвук. Было тихо. Но вот раздались голоса, топот ног, бряканье ключей. Ко мне заглянул надзиратель Василий Иванович Мальцев.

— Как отдыхали, Владимир Петрович!

— Спасибо, хорошо.

Он печально смотрел на меня. Мне даже было несколько неловко, что он от всей души сочувствует мне. Василий Иванович сообщил, что, по слухам, заместитель прокурора области П. Л. Громов уезжает в длительную командировку.

Действительно, спустя некоторое время стало наблюдаться ослабление режима. Павел Лаврентьевич любил наводить страх. Ему, видимо, нравилось, что при его появлении заключенные должны были застывать неподвижно там, где их застигал окрик надзирателей. Он обходил коридоры, камеры, кухню, санчасть. Все вскакивали, вытягивались в струнку...

Чуть ли не ежедневные допросы утомляли меня, опустошали душу. Какой-то нравственный столбняк овладевал мною. Надзиратели, заключенные, вся окружающая обстановка точно проваливалась в черную пустоту, а их место заняли болезненные видения. Жажда жизни, свободы томила невыносимо.

Мне уже приносили воду в металлическом чайнике. Чуть ли не каждый день я требовал, чтобы приносили бумагу, писал жалобы в адрес Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежне-

ва и Генерального прокурора СССР Р. А. Руденко, хотя мало верил, что загнивший бюрократический механизм захочет разобраться в истинных обстоятельствах моего дела.

Правильно сейчас говорят, что брежневское правление обрекало людей на многолетние нравственные и физические страдания. По весьма скромным подсчетам, более миллиона людей проходило ежегодно через тюремную «школу», среди них много невиновных. Содержание их обходилось государству во многие миллионы рублей, в ущерб образованию, науке, культуре и т. д.

Что же делать? Как избыть этот кошмар, висящий над нашим будущим? В целом Министерство внутренних дел во главе со А. А. Щелоковым стало источником социального зла. Всегда считалось непреложной истиной, что педагоги должны быть гуманными, образованными людьми. Почему бы не предъявить такие же требования к работникам тюрем, лагерей, органов милиции и т. д. Эти ответственные и трудные должности не должны замещать малограмотные, морально ущербные люди, пользующиеся «авторитетом» кулака. Не должна ли в тюрьмах и лагерях царить высшая сила и власть — власть любви? Если бы заключенный увидел, что к нему подходят с вниманием и справедливостью, то, я уверен, даже в самой темной и развращенной душе возник бы отклик. Обо всем этом я много размышлял в карцере.

Однажды меня вызвали на встречу с адвокатом, приехавшим по просьбе моих родных из Челябинска. В его глазах я заметил удивление видимо, изможденный, в отросшей до груди бороде, я выглядел дикарем. После короткого разговора Георгий Николаевич передал мне письмо от матери и отошел к окну. Я вскрыл конверт.

Мать писала, что я должен бороться за правду не голодовкой, а иными способами. Напоминала, что мой отец был среди первых чекистов, которому Ф. Э. Дзержинский лично вручил мандат. Она просила прекратить голодовку, пожалеть своих близких.

Я передал письмо Георгию Николаевичу с просьбой сберечь и сказал:

— Передайте матери, что обещаю с завтрашнего дня прекратить голодовку.

Георгий Николаевич грустно кивнул головой.

III

В воскресенье утром 25 августа 1974 года проходил суд (председательствующий Выборнов, член Тургайского областного суда). Естественно, присутствовали два заседателя. Дела им, собственно, было немного — заседание длилось не больше часа. Прочли обвинение, коротко допросили свидетелей. Помощник прокурора области юрист первого класса Х. А. Малюский просил суд приговорить меня к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИТК усиленного режима, с конфискацией имущества.

Я выслушал обвинение молча и на предложение воспользоваться правом подсудимого на последнее слово в упор посмотрел в глаза председательствующего. Его лицо покрылось красными пятнами. В зале установилась тишина.

— Ишь, какой герой нашелся! — произнес почтенных лет заседатель. — Молчит...

Судья осуждающе посмотрел на него.

После короткого совещания суд приговорил меня к 12 годам с конфискацией имущества. Я был обвинен в том, что, работая адвокатом Кустанайской городской юридической консультации, брал от подзащитных деньги для передачи судьям, а сам присваивал их. Судя по приговору, я таким образом получил более тысячи рублей...

Я услышал рыдания матери. Не стесняясь, плакали мои коллеги, талантливые адвокаты Дмитрий Степанович Маковецкий и Иван Алексеевич Звенигородский, оба ныне покойные. До конца дней буду помнить их имена. Доброе слово скажет о них каждый, кому они помогли во времена разложения и коррупции, протекционизма и угодничества.

— Уведите осужденного, — приказал судья, когда все формальности были закончены.

Часто дыша, ко мне приблизился старшина с наручниками в руках. Я боялся, что приступ астмы схватит прямо в зале суда. Я подосадовал на тех, кто назначил его начальником конвоя. Ко мне подошли два сержанта внутренней службы, старшина скомандовал:

— Руки назад, пошел! Посторонись! Дорогу конвою!

Вряд ли кто заметил, что у него посинели губы и нос, глаза закатывались. У автозака старшину поддержал сержант. Теряя сознание, старшина успел сказать:

— Сержант, надень наручники адвокату, чтобы не сбежал.

Я протянул руки молоденькому сержанту. Он покраснел и застенчиво произнес:

— Владимир Петрович, наручники можно применять только приговоренному к расстрелу.

Мне было жутко. Старшина лежал на полу автозака и широко открытыми глазами смотрел на меня. Я бы посчитал его мертвым, если бы не вырывающееся хриплое дыхание.

Возле тюрьмы старшина очнулся. Он вышел первым и взял меня за предплечье. Так мы и вошли в тюрьму. Через несколько минут я уже был в камере № 11. Некоторые сокамерники, когда я сообщил о приговоре, посчитали, что я их разыгрываю.

Начались тюремные будни.

Было совсем поздно. Многие сокамерники давно уже храпели. Мне не спалось. Ко мне на кровать подсел Борис Бессараб.

— Не спите, Владимир Петрович? Не помешаю, если немного расскажу о себе? Конечно, мои переживания вам, может быть, покажутся неинтересными.

— Что вы, Борис Александрович! Только боюсь, что не заслужил подобного доверия с вашей стороны.

— Чувствую, что вам можно довериться. Все, что сказано от сердца, вы сердцем и примите. Прежде всего, знаете ли вы, что я еврей?

— Вот бы никогда не подумал! Да и фамилия...

— Ну, фамилия-то ничего не значит. Однако, скажите откровенно, Владимир Петрович, вы не юдофоб?

Я засмеялся:

— Нет. Я родился и вырос на Южном Урале, где и евреев-то почти нет. А когда учился в Ташкентском, у меня много было друзей-евреев.

— Какие нехорошие вещи сейчас иногда творятся в нашем обществе! Образованные, интеллигентные люди не стесняются громко произносить слово «жид» и выказывать презрение к евреям. Вы слушаете, Владимир Петрович?

— Я весь внимание.

— Приехал я на целинные земли в начале шестидесятых годов из Херсонской области. Первые годы работал на стройках Октябрьского района. Встретил Светлану, поженились. Я — еврей, она украинка. Мы любили друг друга и жили душа в душу. Родила она мне двух сыновей. В конце шестидесятых годов переехали в Кустанай. Я поступил на службу в милицию, работал участковым инспектором, обслуживал район хлебного и камвольно-суконного комбинатов. Старался честно исполнять свой

долг, добиться исключения каких-либо правонарушений на своем участке. По вечерам у столовой на улице Социалистической продавали спиртные напитки. Группа молодежи пьянствовала и терроризировала население. Каждый раз, когда я задерживал правонарушителей, на меня поступили жалобы в городскую прокуратуру, и прокурор города, как правило, никаких мер к виновным не принимал. Более того, была предпринята попытка возбудить против меня уголовное дело. Прокурор Кустанайской области Петр Григорьевич Грачков, к которому моя жена пошла на прием, спас меня от суда. Из органов милиции я был уволен.

Спустя некоторое время благодаря добрым людям я был принят на должность начальника караула Кустанайского камвольно-суконного комбината. Шло время. Я почему-то решил, что жена меня разлюбила, я ревновал, плакал, грозил, стал ко всему безразличным. Оказался втянутым в преступную группу, которая занималась кражей продукции. И вот очутился здесь. Окончательно пал духом. Не знаю, что было бы со мной, если бы не получил письмо от жены. Каждый день перечитываю. «Люблю. Целую. Твоя Светлана», — так она написала в конце.

Мы разговаривали до поздней ночи.

— Знаете, Владимир Петрович, мне иногда кажется, что «тот свет» — это мир, в котором мы живем...

Оба мы не спали почти до утра.

... Через несколько лет я узнал о дальнейшей судьбе Бессараба. Отбыв половину срока и год поселения, вернулся к семье в Кустанай. Вскоре умерла жена. Пережив трагедию, он надломился и навсегда уехал из города.

IV

Вечером кто разговаривает, кто уже спит, некоторые курят. Днем мы сходили в баню, потом напились чаю — и довольны. О будущем, как принято в тюрьме стараемся не думать, живем сиюминутными интересами. Вот в одной из камер раздалось пение. Мы слышали, как туда кинулся контролер Ахмед — и мгновенно все стихло. (Впоследствии Ахмед сошел с ума).

—Ох уж эта тюрьма, издохнешь здесь... — сокрушенно вздыхает мой сосед Анатолий Воробьев.

Бывший работник уголовного розыска, он отличался грубостью, черствостью и самомнением. Я называл его «молотобойцем», на что он, похоже, не обижался. Воробьев ждал этапа в колонию, осужденный за «выколачивание» взяток с помощью пистолета и мощного кулака. Он гордился силой, утром он «развлекался»: криво ухмыляясь, резко выбрсывал правую руку с растопыренными пальцами к глазам сокамерников, наслаждаясь их испугом. Прекращал свои штучки лишь после моего окрика «Анатолий, прекрати!»

Бывший юрист Станислав Артеменко взахлеб вспоминал разгульную и развратную жизнь на свободе. Мне было противно его слушать, он казался наглядным олицетворением массового разложения.

На кровати в углу резались в карты. Хотя со стороны администрации и принимались строгие меры, запрещенные товары и предметы попадали в тюремные камеры. Помню, конокрад Егор Холод хвастал:

— Да хоть пусть они и того пуще обыскивают, деньги и карты у заключенных всегда будут!

У «кормушки» стоял стремщик, семнадцатилетний Саша Антипов. Вместе с сообщниками он занимался угоном бычков. Попались они с поличными, когда разделывали очередную тушу для продажи.

Однообразно и мучительно тянется жизнь в тюрьме. Нечем заполнить душевную пустоту и отвлечься от горьких дум. Очень тяжело на заключенных давит летнее время. Душа болит, когда во время положенных прогулок по двору видишь зеленые деревья и голубое небо. Неудивительно, что многие заключенные рвутся на стройки народного хозяйства, откуда нередко возвращаются обратно с лишением льгот и даже увеличением срока за какую-нибудь кражу или хулиганство по пьянке.

Воспитательной работы в тюрьме практически не ведется никакой, что, конечно, пагубно сказывается на заключенных. Часто были склоки, ссоры. У меня явилась мысль организовать своего рода кружок по изучению основ политэкономии и трудов В. И. Ленина. Я обратился к начальнику тюрьмы с просьбой выдавать в течение недели одного-двух томов сочинений. Вопрос был решен положительно.

Услышав о моем намерении, со второго яруса койки спрыгнул Филипп Новиков и, подбегая ко мне, закричал:

—Это вы здорово придумали, Владимир Петрович!

Москвич, учитель одной из рудненских музыкальных школ, он был осужден за «распространение заведомо ложных измышлений,

порочащих общественный строй СССР». Как не хотелось верить, что его за безобидное общение с окружением академика Сахарова подвергли такому наказанию...

Я спросил, кто еще хочет учиться. Старики толкали более молодых, а сами не решались сказать. Юный Антипов смущенно заявил:

—У меня память плохая. — Но глаза его горели любопытством. Явно ему хотелось послушать споры старших. И он насмелился: —Записывайте в кружок. Ничего, посмотрим, я хоть с двойки на тройку, а девять классов окончил.

Станислав Артеменко сказал:

—В институте надоело сдавать зачеты и экзамены.

—Все это чепуха, братцы, — подал голос бывший оперативный работник Анатолий Воробьев, лежавший на койке. — От таких занятий нам лучше не будет. Надобно учиться, как добывать деньги, пить и гулять.

Как бы отвечая ему, Саша Антипов проговорил:

—А я и мяса даже не ел, хотя бычков воровал. Для других. По глупости оказался в тюрьме.

Практически создать кружок не удалось, но мы с Филиппом Новиковым по нескольку часов в день отводили конспектированию сочинений Ленина. Саша Антипов обзавелся толстой тетрадью и с нашей помощью конспектировал тот или иной раздел или главу.

Однажды перед утренней поверкой я услышал перебранку между Сашей и конокрадом Холодом.

—Ты куда дел мою тетрадку? — сердито спросил Саша.

—Не брал я твою тетрадку! Сам куда-то затырил.

Саша начал искать на полке. К нему подскочил самый неразговорчивый и угрюмый обитатель камеры Степан Харламов.

—Не смей трогать мою книгу! — Вырвал из рук книгу Л. Шейнина «Старый знакомый». — Уче-ники... Дрыном хорошим вас надо учить. Политиканы паршивые!

Харламов никогда не вмешивался в общие разговоры, держался особняком. Я знал, что у него бешеный нрав, что в пьяном виде он бывает опасен, хватается за нож и кидается на любого, кто ему почему-либо не понравится. Он имел девять судимостей. Ему было 68 лет. В 1927 году по одному из дел ленинградских «медвежатников» был осужден на 5 лет. В период, когда в стране не применялась высшая мера наказания, на его совести было несколько человеческих жизней.

Через некоторое время Харламов стал со мной разговорчивей и откровенней. Ничего, кроме грубых материальных интересов, он не признавал. Через все его чувства и мысли проходила ненависть к традициям и порядкам, которые могли наложить узду на его

непокорную волю и неудержимую жажду наслаждений. «Наплюй на закон, на веру, на мораль, режь, грабь и живи вовсю», — таково было его убеждение.

—Если все станут рассуждать так, как вы, что получится? — говорил я ему. — Жизнь станет сплошным убийством и насилием, люди станут еще несчастнее, чем были до сих пор.

—А мне какое дело! Зачем я стану о других заботиться? Обо мне никто никогда не заботился. Начальство наказывало голодного, который кусок хлеба украдет, а сами тысячи гребли. Буду я с такими людьми считаться!

—Но ведь не одних подлых вы убивали и грабили. А если человек в поте лица наживал деньги? Он-то в чем виноват.

—Раз богатый — значит паразит! У нас нельзя честно заработать богатство. А если такой и попадался мне в руки, его на том свете наградят, святым сделают.

—А совесть-то, Харламов?

—Какая там совесть! Людишки никакого стыда не имеют, только наказания боятся.

Следует сказать, что почти все заключенные глядят на себя как на невинных страдальцев. Ведь убитые не мучаются? Богатые от того, что их «пощипали», не обеднели? Другие преступления связывают с «издержками» общества, несовершенством государства. За что их, дескать, так долго томить — пять, десять, пятнадцать лет? За что и по окончании срока не всем удается вернуться к нормальной человеческой жизни? Многие так и остаются с вечным клеймом отвержения и совершают новые преступления. Большинство считало: будь они на месте правительства, немедленно выпустили бы всех заключенных на волю.

Выслушав подобные мнения, Харламов зычно закричал:

—А я бы всех нас собрал в одну тюрьму и подпалил с четырех концов! Мы никогда не станем честными — волки с овцами не смогут мирно жить. А заодно бы на всемирный костер прихватил и всех паразитов.

Я давно обратил внимание, что многие заключенные склонны к мести. Стремление отомстить обидчику, подлинному или мнимому зачастую является чуть не главным побуждением к побегу или мечтам об освобождении.

Живя в этой атмосфере злобы и мести, можно ужаснуться за наш народ, столь прославляемый за христианское всепрощение, однако порождающий подобных чудовищ. Все-таки, думаю, не каждому слову заключенных следует придавать значение. И в этих страшных людях я научился находить человеческие черты, ведь

при виде живого страдания роднишься и сближаешься даже с заклятым врагом, сочувствуешь даже зверю, томящемуся в железной клетке и бессильному из нее вырваться.

Однажды после обеда в камеру ввели старика лет семидесяти. Вид у него был угрюмый и растерянный. В правой руке он держал узелок.

—Лука Семенович Гончаренко. Так меня кличут, — представился старик.

Тем же вечером он рассказал, что убил двух совхозных пастухов, за что приговорен к смертной казни.

Как-то мы остались вдвоем, по болезни освобожденные от прогулки. Старик горько жаловался на несправедливость судьбы. Он давно подозревал двух пастухов в воровстве. Застал их, как говорится, на месте преступления. Они пригрозили убить, если проговорится. Тогда Лука Семенович и порешил их сгоряча.

Он был, конечно же, убийца, и никто в камере не мог найти ему оправдания. Однако меня привлекала в нем довольно редкая у заключенных черта — отеческая нежность, с какой он любил маленьких детей. Он вспоминал своих уже взрослых дочерей и сыновей, внучат. Сокрушался, что могут возникнуть какие-нибудь препятствия с оформлением наследства внукам, хотя и составил завещание на свои сбережения.

Старик Гончаренко уходил на этап для исполнения проговора ранним утром теплого летнего дня. Широко открытые печальные глаза о чем-то просили. Подавая на прощание руку, он воскликнул:

—Владимир Петрович, похолопочите, ради бога, за внуков и детей. Пусть они получат мои сбережения! Прощайте.

Это были последние слова, которые я от него слышал. Позже узнал, что старик Гончаренко был расстрелян в Карагандинской тюрьме. Выйдя на свободу, я сразу же списался с родными Луки Семеновича, от которых узнал, что его сбережения были поделены между тремя его внуками. Последняя воля была выполнена.

V

По вечерам мы с Новиковым читали сокамерникам художественную литературу. Бывало, засиживались допоздна. Надзиратель

несколько раз подходил к дверям, приказывал ложиться спать, но слушатели просили читать еще и еще. Я опасался, что администрация примет строгие меры, но надзиратели уже не отличались прежней неукоснительностью и не доносили о нарушениях режима.

Из произведений Пушкина больше всего нравились «Борис Годунов», «Капитанская дочка» и «Дубровский». Помню, какое впечатление произвели трагедии Шекспира «Король Лир» и «Отелло».

После «Отелло» все зашумели и заговорили. Жалели Дездемону, жалели и Отелло. «Ягу» ругали и проклинали единодушно и строили догадки, какую пытку придумает для него Кассио. А через час сокамерники говорили уже совершенно противоположное тому, что вырвалось в первом порыве. Ругали женщин вообще и жен, в частности, утверждая, что даже и без всякой вины их следует душить как собак. Особенно возмущался плотник Костя Филимонов, который, по его словам, жизнь загубил из-за женщин.

Тогда я и узнал историю убийства жены, за которое он пришел в тюрьму. В течение последних десяти лет жил Филимонов в Кустанае, плотничал, занимался бондарным делом. Часто пускался в загул, свои большие заработки тратил на женщин, избивал их, за что дважды сидел. В конце концов он женился. Первые три-четыре месяца жили мирно, но потом пошли слухи, будто жена сожительствует с его бригадиром Яшкой Косоротовым. Филимонов побил ее раз, побил и другой, уговаривая не дурить. Соседи начали над ним смеяться. К чувству обиды примешивалось и сожаление о напрасно потраченных на супругу деньгах.

—Раз в понедельник, — рассказывал Филимонов, — вызывает меня начальник СМУ и говорит: «Необходимо срочно выехать в подшефный совхоз для строительства скотобазы, недели на две». А я спрашиваю: «Яшка-бригадир тоже со мной?» «Да, тоже командируем, только через недельку».

Поехал я с напарником в совхоз, а сам чувствую: не миновать беды. Через три дня вернулся в Кустанай к двенадцати часам ночи. Яшку и жену мою Евдокию встретил на улице перед самым домом. Из ресторана возвращались. Я подхожу—так и так, Яшка, потолковать надо. «Знаю, говорит, о чем толковать хочешь. Только мое дело сторона. Не хочет она жить с тобой—что я могу поделать?»

—«Поди-ка, говорю, сюда, Евдокия, мне сказать тебе кое-что нужно». «Нет, отвечает, не об чем нам говорить.» А сама, стерва, хватает любовника за руку и тащит домой.

Тут взыграло во мне сердце. Схватил ее за руку и тяну к себе. Так и стоим посреди улицы — я за одну руку держу, он за другую.

Поворачивается она тогда лицом ко мне и говорит: «Уйди. подлец, не то закричу, в рожу плевать стану».

А! Так я подлец! Нагнулся, выхватил из-за голенища нож и — раз! раз! — в грудь ей по самый черешок два раза запустил. Он, ее полюбовник, хотел было кинуться на меня—я размахнулся и — его в живот. Он тут же сковырнулся — дух из него вон. А та, шкура, настолько живуча была, что еще до квартиры на пятом этаже успела добежать. Догнал ее и еще под левую лопатку всадил нож — не жить тебе, змея подколодная!

Большинство слушателей одобрило поступок Филимонова. Не умела жить честно — лежи в земле со своим любовником, целуйся с ним. Никому и в голову не приходило задаться вопросом, какая внутренняя драма могла происходить в душе Евдокии, какие причины толкнули на измену законному мужу.

Харламов заявил:

—Неужели же прощать ей? Чтоб она, подлюка, смеялась надо мной? Да лучше ей голову отрублю, если что-нибудь заподозрю.

—А вы, Артеменко, как думаете? — спросил я бывшего коллегу.

—Конечно, за такие дела жену бить надо! Но я против убийства. Лучше спокойно уйти от нее, — махнул рукой Артеменко и придвинул к себе лист бумаги, на котором были написаны первые строки очередной жалобы на имя Генерального прокурора СССР.

VI

Пожалуй, в любой из наших тюрем найдется группа заключенных, держащаяся в сторонке. Это — киргизы, казахи, узбеки, татары и другие, которых в этой среде называют одним словом — магометане, а всех уроженцев Кавказа — черкесами. Они, обычно, сидят в уголку и ведут тихий спокойный разговор или по нескольку человек расхаживают по камере. Это, если не знают русский язык. Если же владеют русской речью, тогда почти сливаются с общей массой заключенных. Из всех, так сказать, представителей «магометан» мне очень нравились киргизы, эти дети природы, не испорченные городской цивилизацией. До сих пор помню двадцатилетнего Аскара. У него были тонкие черты лица, бархатистые глаза, изящные руки.

Аскар был молчалив и постоянно грустен. Если бы можно было, он, кажется, с зари до зари лежал бы на кровати, не шевелясь. Но спал он мало — часто просыпаясь ночью, я видел его открытые пе-

чальные глаза. Он был вежлив и добр ко всем без исключения. Все его любили.

—Аскар-то! — говорил конокрад Холод. — Да я одного только из мусульман такого встретил за всю жизнь. Он какой-то от всех особый.

Он редко присаживался к группе из 4-5 человек, говорящих на казахском или ином восточном языке, и, похоже, не очень внимательно прислушивался.

Родом из Ошской области Киргизии, сын земледельцев, он учился на 2-ом курсе физико-математического факультета Казахского университета. В составе студенческого строительного отряда прибыл в один из совхозов Кустанайщины для возведения кошар.Както ребята пошли в местный клуб, предварительно выпив три бутылки коньяка на четверых. На танцах между студентом Леонидом Коноваловым и совхозным механизатором Егором Спиридоновым возникла ссора. Спиридонов вытащил из-за пояса столовый нож и ударил студента в предплечье. Выступила кровь. Егор выскочил из клуба и попытался скрыться. Студенты побежали за ним, догнали у калитки дома. Аскар свалил его с ног ударом кастета. Не приходя в сознание Егор через сорок минут скончался на руках матери, выскочившей из дома на крики и шум толпы. Утром следующего дня Аскара арестовали...

Часто, лежа на кровати с заложенными за голову руками, Аскар напевал грустную песню на киргизском языке. К сожалению, не помню все слова, хотя он нё раз переводил эту прекрасную поэтическую песню. Каждый раз, когда я слышал ее монотонный напев, делалось токсливо и горько. И по сей день эта мелодия звучит во мне, особенно, если вижу зло и несправедливость.

Однажды я спросил Аскара, о чем он так тяжко тоскует. Он печально посмотрел на меня и стеснительно сказал:

—Мне очень хочется написать матери, а как отправить письмо, не знаю.

Я твердо пообещал помочь;

—Пиши, дорогой Аскар. Постараюсь передать на волю.

Он посмотрел на меня широко открытыми глазами.

—Скажите, Владимир Петрович, зачем человек рождается на свет? Зачем страдает? Для чего тюрьма? Лучше умереть, избавиться от мучений...

Я ужаснулся при мысли, что для Аскара и действительно нет впереди другого исхода... Утешал его, как мог, стараясь разогнать черные мысли о смерти.

Чем ближе подходила зима, тем он становился мрачнее. Здоровье его совсем пошатнулось, он хватался за грудь, жалуясь на

боль. Еще не настала зима, а он уже с нетерпением ждал лета.

—Аскар, — обращались к нему надзиратели, — почему бы тебе не обратиться к тюремному фельдшеру?

—Не хочу, — отвечал он, печально улыбаясь. — Не хочу. Так Аллаху угодно.

Против его желания я просил фельдшера осмотреть его и назначить лечение. К концу февраля он поправился, повеселел.

Однажды, когда на козырек окна камеры сел молодой голубь, Аскар мгновенно преобразился — вскочил на второй ярус кровати, изогнулся как кошка, вытянул руку, чтобы поймать голубя. Это ему удалось.

Он нежно прижал его к лицу, ласково и осторожно гладил перышки. И через минуту поднял голубя кверху и выпустил — взъерошенный пленник вылетел через решетку на волю.

... Шли дни, недели, месяцы. Я с тревогой следил за здоровьем Аскара. Он худел, лицо стало бледно-желтым. Тюремный фельдшер отказался было направить его на углубленное обследование, но я пригрозил пожаловаться начальнику тюрьмы, и он вызвал врачей, которые пришли к выводу, что истощение связано с нарушением деятельности центральной нервной системы вследствие переживаний.

Я делал для Аскара все, что мог, делился всем, что имел, и все свободное время просиживал возле его койки. Он глядел на меня благодарно и ласково. Однажды спросил:

—Я не умру, Владимир Петрович, нет?

—Конечно нет, Аскар! — заверил его и засмеялся, хотя в душе сомневался, что опасности нет.

Аскар горячо пожал мне руку. Он признался, что сильно боится смерти и очень хочет жить.

Я решил добиться освобождения Аскара до рассмотрения его дела в суде и от его имени написал жалобы на имя Генерального прокурора СССР и прокурора области. Ожидая благоприятного исхода, мы фантазировали: вот Аскара освободили из-под стражи, он едет в свой теплый светлый Ош, а затем в родное село. Его встречает радостная мать, родственники. Он подробно обо всем мне пишет... Но увы, ответа на жалобы не последовало.

Здоровье Аскара стало резко ухудшаться, настроение становилось мрачнее — удручающе действовало приближение лета: за окнами тюрьмы зеленели холмики, до нас доносился аромат расцветающего шиповника и багульника. Он высох, черты лица заострились.

Однажды я увидел, как перед осколком зеркала он рассматривает волосы. Хрипло засмеялся и сообщил:

—Смотрите, Владимир Петрович, смотрите: седой. И тут седой, и тут. Весь волос — старик!

Записавшись на личный прием к начальнику тюрьмы, я попросил поместить Аскара в медицинский изолятор. Эта была тюремная камера с двумя кроватями. Мне разрешили его навещать.

В последние дни умирающий вспоминал детство, родные места, мечтал о воле, все еще надеясь, что содержание под стражей заменят подпиской о невыезде. Не зная, чем утешить, я сообщил, что на днях его переведут в городскую больницу и освободят из-под стражи.

—Это хорошо, — сказал он задумчиво и лег, с головой укрывшись одеялом.

Я вышел. А в два часа ко мне пришел в камеру надзиратель Василий Иванович Мальцев.

—Аскар просит вас. Похоже, скоро конец.

С сильно бьющимся сердцем я пошел к Аскару. Он лежал на койке лицом к стене, по временам хватал что-то в воздухе левой рукой и еле слышно произносил: «Петрович, Петрович...» Я тихо окликнул его — он не отзывался.

Около полуночи меня разбудили.

—Кончился!

—Не может быть! — вырвался у меня непроизвольный крик.

Похоронили Аскара на тюремном кладбище, недалеко от дороги, по которой ежедневно ходят и проезжают на грузовиках на работу и обратно глубоко несчастные люди, отбывающие сроки наказания в лечебно-трудовом профилактории по поводу хронического алкоголизма, захлестнувшего наше Отечество.

На его могиле ничего нет, кроме маленькой дощечки с номером. Зимой ее заносит снег, а летом покрывают цветы багульника и шиповника. А дальше расстилается степь. Так никогда Аскар и не узнает: было установлено, что он находился в состоянии необходимой обороны.

В день кончины Аскара я ежегодно 30 августа прихожу к этому холмику и с глубокой грустью вспоминаю давно прошедшие дни тюремного прозябания. Гляжу на сплошной ковер степного ковыля, уходящего за горизонт и хочу верить, что настанет в конце концов разумная, добрая жизнь, без преступлений, без мучений и страданий.

VII

Я много размышлял об истоках преступности. Говорили, спорили об этом с Филиппом Новиковым. Он утверждал, что преступники являются таковыми по своей организации, особенностям нервной системы, что именно преступники от рождения и составляют главный контингент тюрем и лагерей. В сущности, он повторял мнение Ломброзо. Вот что писал английский криминолог Г. Эллис:

«Преступность состоит в неумении жить по масштабу, признанному обязательным для данного общества.

Преступник — это лицо, которому, благодаря своей организации трудно или невозможно жить согласно этому масштабу и который легко рискует подвергнуться наказанию за антисоциальные поступки. Благодаря каким-либо недостаткам наследственности, рождения или воспитания он принадлежит как бы к низшему и более устарелому общественному строю, чем тот, в котором он вращается. Случается даже, что наши преступники похожи физически и психически на ненормальных представителей низшей расы».

В тюрьме я видел достаточно фактов, опровергающих это мнение. Да и читатель на примере рассказанных мною судеб заключенных может убедиться, что это далеко не так. По моему глубокому убеждению, не столько природа создает преступников, сколько общество, правовые, экономические отношения, низкий уровень нравственных понятий. Хотя должен оговориться, что несомненно могут существовать нравственные уроды, еще в утробе носящие в себе элементы преступности. Но какими аргументами наука докажет, что преступники А, Б, В уже при зачатии намечены природой к тюремному заключению?

Филипп Новиков ссылался на героев «Мертвого дома» Достоевского: каторжники — люди угрюмые, неразговорчивые, завистливые, среди них постоянно вспыхивают ссоры, драки.

Я ему напоминал, да ведь эти несчастные в остроге сидят, лишены не только всех благ и радостей свободной жизни, но даже права на человеческое достоинство! Их унижают на каждом шагу, заставляют делать зачастую бессмысленную работу. Так было в годы сталинщины и брежневщины, да и сейчас не все изменилось к лучшему. В стенах тюрьмы заключенные как пауки в банке. Отсюда и сплетни, пересуды, пошлость и подлость. Поставьте в такое положение даже воспитанных, образованных людей и посмотрите, сохранят ли они достоинство. Нам же много раз доводилось убеждаться, что так называемые «высококультурные» заключенные сами провоцировали ссоры, дрязги, скандалы.

Следует помнить, что не безнравственность вообще, не порочность или жестокость приводит людей в тюрьму и лагеря, а лишь определенные и вполне доказанные нарушения существующих законов и даже система социальной несправедливости. Скажем, в России существовало положение, по которому один человек владел другим, и его нарушение влекло за собой ссылку и каторгу. Или другой закон — о 25-летней солдатчине...

Тоска, вызванная ненормальными жизненными условиями, и двигала невежественных, умственно и нравственно неразвитых людей на путь пороков и пьянства, на безумные вспышки преступности. Но людей высшего развития подобная тоска вела на путь борьбы с этими условиями, что делало их в глазах власть имущих преступными отщепенцами.

На мой взгляд, сейчас назрела острая необходимость сосредоточить усилия ученых—юристов, психологов, социологов, педагогов и т. д. на разработке таких законопроектов, которые бы полностью исключили в мире заключенных несправедливость и произвол, вызывающие дополнительные страдания и отнюдь не ведущие человека к исправлению.

VIII

Вспоминаю паренька Синеглазова (фамилия изменена — В. Т.) Было ему, по его словам, 25 лет, но выглядел значительно моложе. Среднего роста, румяный, голубоглазый, он отличался вежливыми манерами. Утром после подъема Синеглазов всегда раскланивался со мной и с другими обитателями камеры. Он был неглуп, развит — когда-то окончил два курса факультета журналистики Томского университета. Невольно думалось, что ничто его не связывает с массой заключенных, кроме серой куртки. Что, кроме случайного несчастья могло толкнуть его в среду преступных и развращенных людей? Он был со всеми ласков и как-то вкрадчиво вежлив. Серые казенные штаны и бушлат сидели на его гибкой фигуре как-то приличнее, я бы сказал, изящнее, чем на остальных заключенных. Черты лица наводили на мысль, что он еврей.

Но его почему-то не любили. С большим удовольствием «загибали салазки», «обрубали банки». Он никогда не защищался, не

кричал, а вкрадчивым голосом уговаривал гонителей не трогать его. Явно старался подделаться к тюремным силачам и воротилам, был, как принято выражаться в той среде, хвостом. Иногда ему удавалось достигнуть своей цели: какой-нибудь отпетый уголовник расхаживал с ним по тюремному двору, фамильярно обняв и дружелюбно беседуя. А через несколько минут давал здоровенный пинок и кричал свирепо:

—Убирайся от меня, шкура тюремная!

Но заключенные, когда я приставал к ним с расспросами о причинах всеобщего презрения, отделывались шутками или общими фразами. И все-таки узнал, что в прежней камере его побил вор-рецидивист Косой бык и что там его называли Зиночкой. И хотя сомнения продолжали во мне шевелиться (мало ли лакие поклепы возводят), я, признаюсь почувствовал невольное чувство брезгливости к этому молодому человеку, с которым раньше был в весьма хороших отношениях. Думалось мне, что если и лежало на нем пятно, то объяснялось оно развращенной атмосферой, господствующей в наших тюрьмах и лагерях.

Он по-прежнему производил впечатление запуганного малого с деликатным нравом и интеллигентной душой. С большим вниманием прислушивался к любому интересному разговору. Однажды вечером он привлек к себе всеобщее внимание, декламируя стихи Пушкина, Блока, Есенина. Исполнял он и песни Высоцкого, подражая его хриплому голосу. Много вечеров подряд заключенные просили его читать стихи.

Исчезла прежняя запуганность и робость Синеглазова: он сделался говорливым, и я не раз видел, как он уже сам сидел на ком-нибудь верхом и «ставил банки». Через несколько дней заключенные, казалось, забыли о тех слухах, которые сами распускали о нем.

Со мной он держался по-прежнему почтительно. Как-то раз я спросил, что привело его в тюрьму.

—Долго рассказывать, — вздохнул Синеглазов. — О многом, пожалуй, стыдно будет говорить. Я лучше напишу.

Содержание этой сохранившейся автобиографии кажется мне довольно интересным, и я привожу ее почти полностью:

«Отец мой был сталинского покроя и, несмотря на то, что много лет жил в Москве среди высоких чинов Центрального партийного аппарата, все-таки не расставался с мыслью уехать в Сибирь, где бы он мог чувствовать себя свободным. Вскоре мы уехали в Сибирь, где мой отец занимал солидный пост в крайисполкоме. В 1956 году моего отца направили для работы в один из областных центров Северного Казахстана. В тот период шло интенсивное ос-

военние целинных и залежных земель. Я учился в школе, но откровенно говоря, крайне неудовлетворительно. Тем не менее, благодаря отцу мои слабые знания оценивались четверками и пятерками. Мне самому тогда было противно видеть моральное и нравственное разложение кадров в партийных, советских и государственных органах. Я видел вокруг себя, а точнее вокруг моего отца, подхалимаж, протекционизм, угодничество, взяточничество, раболепство. И что самое страшное — все это поощрялось. Наша семья утопала в роскоши. Еще тогда, в школьные годы я утратил всякую веру в учение марксизма-ленинизма. Я уже тогда был твердо убежден в том, что в нашей стране социализма как такового не было.

При содействии друзей отца я после окончания средней школы сразу же был зачислен на первый курс факультета журналистики Томского государственного университета. В Томске я жил в отдельной однокомнатной квартире. Полтора года жизни в Томске прошли в сплошном угаре. Я фактически прожигал жизнь. Пьяные оргии, хулиганство, дебоши, женщины стали источником моего окончательного падения и трагизма жизни.

Однажды с дружками мы зашли в знаменитый ресторан «Малахит», где я совершенно беспричинно, будучи в нетрезвом состоянии, всадил финский нож прямо в сердце одному сибиряку. Он, говорят, был из кержаков, здоровенный молодой мужик. Из ресторана его увезли уже мертвым. Началось следствие. На вопрос следователя по особо важным делам областной прокуратуры, действительно ли я убил лесоруба такого-то, я дал утвердительный ответ, и после этого отцу моему ничего не оставалось, как отправиться домой одному, меня же отвезли в КПЗ райотдела внутренних дел.

В камере предварительного заключения меня сразу поразил страшно спертый воздух и скверный запах, исходивший от раскрытых параш. Человеческие тела лежали беспорядочно на нарах и валялись на голом полу в грязи в рваных одеждах и в опорках на босу ногу. Со мной чуть не сделалось дурно, и я начал громко стучать в дверь и требовать холодной воды. Тогда один из заключенных вскочил на ноги и закричал на меня: «Ты что тут, козел вонючий, еж бразильский, стучишь. Падаль, сука, стервья этакая!» Понятно, что я не стал больше стучать, а отойдя в угол, простоял до утра на одном месте, так как сесть или лечь было решительно негде. Поутру долго пришлось мне пробыть в кабинете следователя прокуратуры. Вечером того же дня меня этапировали в Томскую тюрьму. Спустя 5 месяцев судебная коллегия по уголовным делам областного суда приговорила меня по ст. 102, п «б» Уголовного Кодекса РСФСР за умышленное убийство из хулиганских побужде-

ний к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИТК усиленного режима. Отбывая наказание в одном из лесных лагерей Сибири, я попал под влияние убийцы, насильника и садиста Фомы Бегемота, кличка которого соответствовала как по форме, так и по содержанию его натуре. Более трех лет я покорно исполнял все низменные прихоти Бегемота. Стирал ему белье, мыл ноги и ложился с ним спать. Временами он избивал меня до полусмерти, истязал. Но кто-либо другой не смел и не имел права обидеть меня даже словом. Бегемот этого никому бы не простил. Благодаря хлопотам отца Президиум Верховного Совета РСФСР в порядке помилования сократил срок моего наказания до 10 лет. А затем по разнарядке МВД СССР я был этапирован для дальнейшего отбывания срока наказания в Кушмурунскую исправительно-трудовую колонию усиленного режима Кустанайской области».

Синеглазов много раз умолял, чтобы о содержании его исповеди я никому из заключенных не рассказывал. Я сдержал обещание. Многие, узнав, что я собираюсь написать о своем пребывании в тюрьме, завалили меня всякими рода рукописями в стихах и прозе. Передавая их, просили хотя бы одним словом упомянуть их имя в предполагаемой книге. Но многое уже утрачено за прошедшие годы, не все сохранила память...

IX

К нам поселили заключенного по фамилии Остапенко с худым, испитым лицом. Он был хил, слабосилен и три месяца исполнял обязанности парашника. При первом же взгляде можно было сказать почти наверняка, что он не жилец на белом свете. Если бы не ужасающий кашель, временами вырывающийся из его тщедушной груди и действовавший на нервы окружающим, то легко можно было бы забыть о существовании этого незаметного, молчаливого человека. По целым дням он лежал на койке с открытыми глазами и, казалось, мечтал о далекой своей Украине, где у него, может быть, осталась семья. Грезил ли о шуме родных тополей, сладком запахе вишневых садов и степных трав? Кто знает? Он мало о себе рассказывал. Я знал только, что бежав из лагеря на Украине, он пытался осесть здесь, на целине.

Казалось, этот тихий, кроткий человек не способен и мухи оби-

деть... А ведь, украв двух лошадей, в момент продажи их цыганам попался с поличным.

Раз, когда мне показалось, что он чувствует себя лучше, я попробовал заговорить:

—Ну, полегче вам стало, Иван Матвеевич? Весна на дворе, солнышко стало пригревать...—Остапенко вздрогнул от неожиданности. Подняв на меня выцветшие кроткие глаза, ласково улыбнулся, но промолчал. — Иван Матвеевич, как же так случилось, что вас с поличным арестовали прямо в цыганском таборе?

—От судьбы никуда не скроешься. Она всегда за плечами у нашего брата сидит.

Он тихо улыбнулся и вдруг неистово закашлялся...

Болезнь быстро подтачивала слабый организм. Вскоре Иван Матвеевич не в силах был даже приподняться в постели без посторонней помощи. Его поместили в санчасть тюрьмы, чтобы затем госпитализировать и решить вопрос об освобождении его от наказания по болезни в установленном порядке. Зашедший в санчасть начальник Алексей Михайлович Михеев тихо, но твердо пообещал:

— Я похлопочу, и медицинская комиссия освободит вас.

Ни медицинского освидетельствования, ни великодушного заступничества доброго Михеева не понадобилось — через три дня Остапенко не стало. Умер он так же тихо, как и жил. Ни заключенные-больные, ни надзиратели — никто не видел его последних минут. Проснулись больные рано утром и нашли на койке остывший труп.

Меня проводили в санчасть. На исхудавшем лице Ивана Матвеевича я увидел кроткую, счастливую улыбку. Похоже, он уходил в иной мир с чувством радости.

«Для него окончился кошмар жизни, — подумал я. — Наступила вечная свобода». Я прослезился. Стоявший рядом со мной молодой надзиратель глубоко вздохнул, когда один из санитаров закрыл лицо покойника простыней.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Вот уже пятнадцать лет, как я на свободе. Нередко всплывают из забвения те или иные образы, события. Порой заключенные, все эти невежественные, жестокие, несчастные люди становятся так близки, что сердце болит и хочется облегчить их участь, заронить в их душевный мрак хоть искру света.

Очень редко, но встречаю в городе своего «подельника» Александра Александровича Бастена, который работает юрисконсультом в одном из учреждений города. Будучи полностью реабилитированным более пятнадцати лет назад, до сего времени не восстановлен в должности следователя. Но он верит в торжество справедливости.

Дошли до меня сведения и о других бывших сокамерниках. Станислав Артеменко, говорят, окончательно спился и угодил в лечебно-трудовой профилакторий. Конокрад Холод, едва освободившись, угодил под топор, когда передавал украденных в совхозе лошадей цыганам.

Слышал, что Анатолий Воробьев, выйдя на волю, в числе группы преступников принимал самое активное участие в ограблениях сельских магазинов и хищении совхозных баранов.

Нескладно сложилась и судьба некоторых других заключенных. Часто товарищи по несчастью вызывали негодование и возмущение, однако я видел, что эти искалеченные, озлобленные люди способны не только падать, но и подниматься, не только ненавидеть, но и любить, жаждать света и страдать от несправедливости. И я верю, что помочь возрождению больной и преступной души можно не фальшивой идеализацией, а правдой и только правдой.

Ткаченко В. П.
Брежневский карцер: Воспоминания /оформление худож. О. Горностаева Л., 1990, 36 с. Цена 1 руб. 20 коп.

По сфабрикованному обвинению адвокат В. П. Ткаченко был приговорен к 12-ти годам лишения свободы. В заключении пробыл 1 год, 3 месяца и 15 дней. Автор пишет не только о себе, но и о тех, с кем довелось ему встретиться в тюрьме.

ТКАЧЕНКО Владимир Петрович
БРЕЖНЕВСКИЙ КАРЦЕР
воспоминания

Редактор **Н. Д. Шумаков**
Художественный редактор **В. И. Круговов**
Технический редактор **А. В. Лакс**
Корректор **И. А. Соколова**

Журнал Ленгороблсоветов народных депутатов «Ленинградская панорама», 191025, Невский пр., 59; КК «Редактор» 190008, Ленинград кан. Грибоедова, 170.

Сдано в набор 19.03.90 г. Подписано в печать 12.04.90. М-28174
Формат 1/16 60 x 84. Печать высокая, офсетная, п. л. 2,5
Цена 1 р. 20 коп. г. Кустанай. Облтип. з. 2081, т. 25000.

1 р. 20 коп.